



ГЕРМАН

ГЕССЕ

ГЕРТРУДА

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КЛАССИКА (АСТ)

Герман Гессе
Гертруда

«Издательство АСТ»

1910

УДК 821.112.2-31
ББК 84(4Гем)-44

Гессе Г.

Гертруда / Г. Гессе — «Издательство АСТ»,
1910 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-109742-4

Роман «Гертруда» (1910) относится к раннему периоду творчества Германа Гессе. История, которую неоднократно называли художественным воплощением мотивов «Рождения трагедии» Ницше, посвящена драме молодого композитора, вынужденного выбирать между «разумным» и «стихийным» началом в творчестве. Реальные детали жизни Гессе и характерные для него самого черты, «подаренные» различным персонажам, придают книге особый, глубинный смысл. Что такое искусство? Самоотречение – или духовная вседозволенность? Почему человек искусства обречен на вечное одиночество? Каждый из героев романа Гессе отвечает на эти вопросы по-своему... В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 821.112.2-31
ББК 84(4Гем)-44

ISBN 978-5-17-109742-4

© Гессе Г., 1910
© Издательство АСТ, 1910

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Глава 1 | 6 |
| Глава 2 | 8 |
| Глава 3 | 19 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 28 |

Герман Гессе

Гертруда

Роман

Hermann Hesse

Gertrud

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 2001

© Перевод. С. Шлапоберская, наследники, 2018

© Издание на русском языке AST Publishers, 2018

Глава 1

Когда я словно бы вчуже оглядываю свою жизнь, она мне видится не очень-то счастливой. Но еще меньше причин у меня считать ее несчастливой, несмотря на все мои заблуждения. Да и глупо, в конце концов, так спрашивать – счастье или несчастье, ибо мне кажется, что самые несчастливые дни моей жизни я не отдал бы и за сплошь безоблачные. Если для человека в жизни важнее всего осознанно принять неотвратимое, в полной мере изведать добро и зло и наряду с внешней судьбой завоевать для себя судьбу внутреннюю, более сущностную, не случайную, то, значит, моя жизнь не была ни бедной, ни плохой. Пусть внешний рок свершился надо мной, как надо всеми, неотвратимо, по велению богов, зато моя внутренняя судьба была все-таки моим собственным творением, ее сладость или горечь зависели от меня, и я должен взять на себя всю ответственность за нее.

В ранней юности я иногда мечтал стать писателем. Исполнились эта мечта, я не устоял бы против искушения отследить свою жизнь вплоть до прозрачайших теней детства и милых, бережно хранимых истоков самых ранних воспоминаний. А так все это достояние для меня слишком дорого и свято, чтобы я сам принялся его ворошить. О моем детстве можно сказать только одно: оно было светлым и радостным, мне дали волю самому открывать в себе задатки и дарования, самому творить для себя сердечные радости и горести и рассматривать будущее не как ниспосланное неведомой силой свыше, а как надежду и результат собственных усилий. Так я без приключений отучился в школах, как нелюбимый и мало одаренный, но зато спокойный ученик, которого в конце концов перестали трогать, поскольку он явно не поддавался никаким влияниям.

Приблизительно с шести-семи летнего возраста я понял, что из всех невидимых сил одной только музыке дано по-настоящему захватывать меня и властвовать надо мною. С тех пор у меня появился собственный мир, мое прибежище и мой рай, которого никто не мог ни отнять у меня, ни умалить и которого я ни с кем делить не желал. Я был музыкантом, хотя до двенадцати лет не учился играть ни на одном инструменте и не помышлял впоследствии зарабатывать себе на хлеб музыкой.

Так оно с тех пор и осталось, без каких-либо существенных изменений, и потому при взгляде назад моя жизнь не кажется мне пестрой и разнообразной, а напротив – изначально настроенной на один основной тон и устремленной к одной-единственной звезде. Как бы ни жил я в остальном – хорошо или плохо, – моя внутренняя жизнь оставалась неизменной. Я мог подолгу носиться по чужим волнам, не прикасаться ни к нотной тетради, ни к инструменту, но какая-нибудь мелодия всечасно жила у меня в крови или на губах, такт и ритм – в моем дыхании и во всем моем существе. Сколь жадно ни искал я на многих других путях спасения, забытья и освобождения, как ни томился жаждою Бога, познания и мира, я неизменно находил все это только в музыке. Не обязательно, чтобы это был Бетховен или Бах, – то, что в мире вообще есть музыка, что человек временами может быть до глубины души взволнован какими-то ритмами или переполнен гармоническими созвучиями, – это всегда снова и снова означало для меня глубокое утешение и оправдание всей жизни. О музыка!

Тебе западает в душу мелодия, ты поешь ее без голоса, про себя, пропитываешь ею все твое существо, она завладевает всеми твоими силами и движениями, и на те мгновения, пока она в тебе живет, она изглаживает из тебя все случайное, злое, грубое, печальное, заставляет мир ей вторить, облегчает тяжелое, а неподвижное окрыляет! Вот на что способна даже мелодия народной песни! А что говорить о гармонии! Уже всякое ласкающее слух созвучие чисто настроенных тонов, например колокольный звон, полнит душу отрадой и удовольствием, оно расширяется с каждым новым звуком и порой может воспламенить сердце и заставить его трепетать от восторга, которого не даст никакое другое наслаждение.

Из всех представлений о чистом блаженстве, какие создали себе в мечтах народы и поэты, наивысшим и наиглубочайшим мне всегда казалось счастье подслушать гармонию сфер. Вокруг этого витали мои самые заветные и самые золотые мечтания – на какую-то долю секунды услышать мироздание и целостность жизни в их тайной, природной гармонии. Ах! Но как же тогда жизнь может быть такой беспорядочной, разлаженной и лживой, как только могут существовать среди людей ложь, злоба, зависть и ненависть, когда любая, даже самая нехитрая песенка, даже самая непритязательная музыка так внятно поучает, что чистота, гармония и братски-дружная игра чистых тонов открывают врата рая! И как же это я сам смею ругаться и злиться, когда я тоже, при всем желании, не сумел претворить свою жизнь в песню и чистую музыку! В глубине души я, правда, чувствую немолчный голос совести, неутолимую жажду прозрачного, сладостного, самоупоенного звучания, то возникающего, то затихающего, однако мои дни полны случайностей и диссонансов, и куда бы я ни обратился, в какую бы дверь ни постучался, я никогда не слышу чистого и ясного отзвука.

Но хватит об этом, я намерен рассказывать. Когда я сейчас задумываюсь над тем, для кого исписываю эти листы, кто, в сущности, имеет надо мной такую власть, что может потребовать от меня признаний и нарушить мое одиночество, то я должен назвать одно дорогое мне женское имя, которое не только осеняет большой отрезок моей судьбы и пережитого мною, но вправе также стоять надо всем, как звезда и высший символ.

Глава 2

Только в последние школьные годы, когда все мои товарищи стали говорить о своих будущих профессиях, я тоже начал об этом подумывать. Сделать музыку делом своей жизни и источником существования – от такой мысли я, в сущности, был далек, однако представить себе какую-нибудь другую профессию, которая доставляла бы мне радость, я не мог. У меня не было отвращения к торговле или другим занятиям, какие предлагал мне отец; просто они были мне безразличны. Но коль скоро мои товарищи так гордились избранными профессиями, да и во мне, наверное, тоже какой-то голос говорил в пользу такого выбора, мне показалось все же правильным и разумным сделать моей специальностью занятие, которое и без того заполняло мои мысли и единственно доставляло мне настоящую радость. Пришлось очень кстати, что с двенадцати лет я начал играть на скрипке и благодаря хорошему учителю кое-чему научился.

Как сильно ни противился мой отец, как ни страшился того, что его сын избрет ненадежное поприще художника, его сопротивление только укрепляло мою решимость, а учитель, благоволивший ко мне, отстаивал мой выбор, насколько у него хватало сил. Под конец отец уступил, однако для проверки моего постоянства и в надежде, что я все-таки изменю свои намерения, мне назначили еще один год учения в школе, который я высиел с достаточным терпением и к концу которого стал только увереннее в своем решении.

В течение этого последнего школьного года я впервые влюбился в одну хорошенькую барышню из круга наших знакомых. Хоть я не так уж часто ее видел и не так уж сильно этого желал, я будто во сне испытывал радость и страдание от сладостных волнений первой любви. И вот в это время, когда я целыми днями столько же думал о моей музыке, сколько о моей любви, а ночами не мог спать от восхитительного возбуждения, я впервые осознанно удержал в памяти мелодии, зазвучавшие во мне, две небольшие песни, и попытался их записать. Это наполнило меня стыдливой, но проникновенной радостью, заставив почти совсем забыть мои наигранные любовные страдания. Между тем я узнал, что моя любимая берет уроки пения, и мне очень захотелось услышать, как она поет. Мое желание исполнилось спустя несколько месяцев, на званом вечере в доме моих родителей. Хорошенькую девушку настойчиво упраскивали спеть, она стойко сопротивлялась, но под конец все же сдалась, – я ужасно нервничал в ожидании. Некий господин взялся аккомпанировать ей на нашем маленьком пианино, он проиграл несколько тактов, и она запела. Ах, пела она плохо, удручающе плохо, и за то время, что она пела, мое потрясение и мука успели смениться состраданием, а потом – насмешкой, и вскоре от этой влюбленности у меня и следа не осталось.

Я был спокойным и не то чтобы ленивым, но и не прилежным учеником, а в последний год и вовсе перестал стараться. В этом была повинна не моя леность и даже не влюбленность, а состояние юношеской мечтательности и равнодушия, притупление чувств и ума, которое лишь изредка внезапно и резко прерывалось, когда в один из дивных часов ранней творческой радости меня словно обволакивал эфир. Тогда я чувствовал себя погруженным в сверхпрозрачный, хрустальный воздух, в котором грезы и прозябание невозможны, где все чувства обострены и неустанно настороже. То, что родилось в эти часы, – это, быть может, с десяток мелодий и какие-то начатки гармонических построений; однако воздуха этих часов я никогда не забуду, сверхпрозрачного, почти холодного воздуха и напряженной сосредоточенности мыслей, дабы придать мелодии верное, единственно возможное и уже не случайное развитие и разрешение.

Доволен я этими маленькими успехами не был и никогда не считал их чем-то значительным и стоящим, но мне стало ясно, что в моей жизни не будет ничего столь желанного и важного, как повторение таких часов прозрачности и творчества.

При этом я знал и дни мечтаний, когда я фантазировал на скрипке и упивался восторгом мимолетных наитий и колоритных настроений. Только вскоре я понял, что это было не

творчество, а игра и баловство, которого я должен остерегаться. Я заметил, что предаваться своим мечтам и наслаждаться часами упоения – это совсем не то, что беспощадно и сознательно, как с врагами, сражаться с тайнами формы. И мне уже тогда приоткрылось, что настоящее творчество делает одиноким и требует от нас, чтобы мы в чем-то лишали себя житейских удовольствий.

Наконец школа осталась позади, я был свободен и, попрощавшись с родителями, начал новую жизнь как студент консерватории в столице. Я сделал этот шаг, полный больших ожиданий, и был убежден, что в музыкальной школе буду хорошим учеником. Но, к моему великому сожалению, получилось иначе. Мне стоило усилий успевать по всем предметам, уроки игры на фортепиано, которые я теперь должен был брать, я воспринимал как великую пытку, и вскоре все мои учебные занятия предстали передо мной как неодолимая гора. Пусть я и не намерен был сдаваться, но я был разочарован и растерян. Я понял теперь, что при всей моей скромности все-таки считал себя чем-то вроде гения, и существенно недооценил усилия и трудности на пути к искусству. К тому же охота к сочинению музыки была у меня основательно отбита, ибо теперь, что бы мне ни задали, я видел перед собой лишь горы препятствий и правил, научился совершенно не доверять своему чувству и уже не знал, есть ли во мне вообще хоть искра собственной силы. И я смирился, стал незаметным и печальным, работу свою выполнял почти так же, как делал бы ее в какой-нибудь конторе или в другой школе, – прилежно и безрадостно. Жаловаться я не смел, меньше всего в письмах домой, а в молчаливом разочаровании шел дальше по избранному пути и поставил себе целью сделаться по крайней мере приличным скрипачом. Я усиленно занимался, глотал грубости и насмешки преподавателей, видел, как многие другие, кого я не считал бы на это способным, легко продвигаются вперед, снискивая похвалы, и довольствовался все меньшим, поскольку и с игрой на скрипке дело обстояло совсем не так, чтобы я мог этим гордиться и, скажем, возмечтал бы стать виртуозом. По всему выходило, что из меня при должном прилежании может получиться дельный ремесленник, который в каком-нибудь маленьком оркестре будет скромно, без стыда и славы, играть на своей скрипке и тем зарабатывать себе на хлеб.

Так это время, о котором я столько мечтал и от которого ожидал столь многого, стало единственным периодом моей жизни, когда я, покинутый духом музыки, шел безрадостным путем и жил изо дня в день без истинной гармонии. Там, где я искал улады, возвышения, блеска и красоты, я находил только требования, правила, обязанности, затруднения и опасности. Если в голову мне приходила какая-нибудь музыкальная идея, то она оказывалась или банальной и уже стократ осуществленной, или находилась в явном противоречии со всеми законами искусства, а значит, ничего не стоила.

И тогда я запрятал подалеже все свои высокие помыслы и надежды. Я был один из тысяч тех, кто с юношеской дерзостью приходит в искусство и чьи силы иссякают, едва лишь дело примет серьезный оборот.

Такое состояние длилось около трех лет. Мне было уже за двадцать, я, очевидно, ошибся в выборе профессии и двигался дальше по избранному пути только из стыда и чувства долга. О музыке я и думать забыл, знал только упражнения для пальцев, трудные задания, противоречия в учении о гармонии, угнетающие уроки по классу фортепиано у насмешливого учителя, который все мои усилия считал лишь пустой тратой времени.

Если бы в тайниках моей души не жил еще прежний идеал, то в те годы я не знал бы горя. Я был свободен, имел друзей, был красивым и цветущим молодым человеком, сыном состоятельных родителей. Временами я всем этим пользовался, у меня случались дни веселья – флирт, пирушки, поездки на каникулы. Но я не мог этим утешиться, не мог, побыстрее отработав свой урок, вволю наслаждаться своей молодостью. Я не отдавал себе в этом отчета, но в часы слабости во мне все еще давала себя знать тоска по закатившейся звезде артистического

призвания, я был не в силах забыть свои обманутые надежды и одурманивать себя. Только однажды мне это вполне удалось.

Это был самый безрассудный день моей безрассудной юности. Я бегал тогда за одной ученицей знаменитого учителя пения Г. С нею, казалось, происходило то же, что со мной, она приехала, полная больших надежд, встретила строгих учителей, к работе была непривычна и под конец даже стала думать, что теряет голос. Пошла по пути наименьшего сопротивления, флиртовала с нами, своими соучениками, знала, как всем нам вскружить голову, для чего, по правде говоря, многого и не требовалось. Природа наделила ее огненной, живой и яркой красотой, которая быстро увядает.

Эта красotka Лидди всякий раз, когда я ее видел, снова покоряла меня своим наивным кокетством. Я никогда не бывал влюблен в нее подолгу, часто совсем забывал о ней, но в ее присутствии влюбленность захлестывала меня снова. Она играла со мной так же, как с другими, дразнила нас, наслаждалась своей властью, вкладывая в эту игру лишь чувственное любопытство юности. Лидди была очень хороша собой, но только когда говорила и была в движении, когда смеялась своим теплым, низким голосом, когда танцевала или забавлялась ревностью своих поклонников. Стоило мне вернуться домой с какого-нибудь сборища, где я ее видел, я сам себя высмеивал, доказывая себе, что человек моего склада не может по-настоящему любить эту ловкую кокетку. Однако через какое-то время ей снова удавалось каким-нибудь жестом или вполголоса произнесенным словом так возбудить меня, что я полночи шатался возле ее дома, разгоряченный и шалый.

У меня выдался тогда краткий период ошаления и наполовину наигранного озорства. После дней подавленности и тупого покоя моя молодость бурно требовала движения и хмеля, и тогда я вместе с несколькими своими товарищами и сверстниками пускался в увеселения и проказы. Мы прослыли жизнерадостными, распушенными, даже опасными бузотерами, что ко мне совсем не подходило, и приобрели у Лидди и ее маленького кружка сомнительную, но сладостную героическую славу. Какую долю в этих выходках составлял настоящий юношеский задор, а какую – желание забыться, мне сегодня уже не определить, ибо я давно и окончательно перерос те состояния и все внешние признаки молодости. Если и были какие-то излишества, то я их искупил. Однажды зимним днем, когда у нас не было занятий, восемь – десять молодых людей, в их числе Лидди с тремя подругами, поехали за город. Мы взяли с собой сани – в то время катанье на санях считалось еще детской забавой – и стали осматривать в гористых окрестностях города дороги и открытые склоны в поисках хороших санных путей. Я прекрасно помню тот день. Стоял небольшой мороз, иногда на четверть часика выглядывало солнце, в бодрящем воздухе чудесно пахло снегом. Девушки в пестрых одеждах и платках замечательно смотрелись на белом фоне, терпкий воздух пьянил, и на этом холоде так и подмывало бегать и резвиться. Наша маленькая компания была в самом веселом настроении, отовсюду слышались дурашливые прозвища и насмешки, в ответ летели снежки, что приводило к маленьким баталиям, и так до тех пор, покамест все мы, разгоряченные и облепленные снегом, не оставались, чтобы перевести дух, прежде чем начать снова. Была построена большая снежная крепость, ее осадили и взяли штурмом, а в промежутках между битвами мы то там, то здесь съезжали на санях по отлогому склону. Около полудня, когда все зверски проголодались от этой возни, мы отправились на поиски и нашли деревню с хорошим трактиром, где заставили хозяев жарить и парить для нас всякую всячину, сгрудились возле пианино, пели, орали, заказали вино и прочее. Подали еду, мы торжественно за нее принялись, хорошее вино лилось в изобилии, потом девушки потребовали кофе, а мы смаковали ликеры. В маленькой зале стоял такой шум и гам, что у всех гудела голова. Я находился все время рядом с Лидди, которая, будучи в благодушном настроении, удостоила меня сегодня особой милости. Наполненный весельем и хмелем воздух пошел ей на пользу, она буквально расцвела, ее красивые глаза засверкали, и она не отвергала некоторых одновременно дерзких и робких ласк. Затеяли

игру в фанты, платить за них надо было либо сев за пианино и подражая кому-либо из наших учителей, либо поцелуями, количество и качество коих строго проверялось.

Когда мы разгоряченной толпой выкатились из трактира и направились домой, до вечера было еще далеко, хотя уже начинало понемногу смеркаться. Неспешно возвращаясь в город сквозь тихо спускавшийся вечер, мы опять затеяли возню в снегу, как распалившиеся дети. Мне удалось остаться рядом с Лидди, рыцарем которой я отныне себя объявил, несмотря на протесты остальных. То один, то другой отрезок дороги я вез ее на своих саниах и как мог защищал от постоянно возобновлявшегося обстрела снежками. Наконец нас оставили в покое, каждая из девушек нашла себе кавалера, и только два молодчика, оказавшиеся не у дел, плелись за нами следом, задираясь и горя воинственным пылом. Никогда еще я не был так возбужден и так безрассудно влюблен, как в тот вечер. Лидди взяла меня под руку и не сопротивлялась, когда я на ходу слегка притягивал ее к себе. При этом она то безудержно болтала в вечерней тишине, то затихала в счастливом и, как мне казалось, многообещающем молчании. Я весь горел и был полон решимости в меру сил воспользоваться случаем и по меньшей мере продлить елико возможно это интимно-нежное состояние. Никто не стал возражать, когда, подойдя уже близко к городу, я предложил сделать еще один крюк и свернул на живописную горную дорогу, полу-кругом огибавшую долину на крутой высоте, откуда открывался прекрасный вид на текущую внизу реку и город, уже блестящий из глубины рядами сверкающих фонарей и тысячей красных огоньков.

Лидди все еще висела у меня на руке, она не мешала мне говорить, смеясь, выслушивала мои пылкие излияния и, казалось, была глубоко взволнована сама. Однако, когда я с некоторым усилием притянул ее к себе и хотел поцеловать, она высвободилась и отскочила в сторону.

– Смотрите! – воскликнула она, переведя дыхание. – На тот луг внизу мы непременно должны съехать на саниах! Или вы боитесь, мой герой?

Я посмотрел вниз и удивился: спуск был настолько крутой, что на мгновение я действительно ужаснулся такой дерзкой затее.

– Не получится, – небрежно сказал я, – уже слишком темно.

Она сразу же напустилась на меня с насмешками, кипя от возмущения, обозвала трусом и поклялась съехать по этому склону одна, коли я слишком труслив, чтобы к ней присоединиться.

– Мы, конечно, перекувырнемся, – заявила она смеясь, – но это же самое забавное во всем катании.

Она так дразнила меня, что я был вынужден что-то придумать.

– Хорошо, Лидди, – тихо сказал я, – мы съедем. Если перекувырнемся, разрешаю вам растереть меня снегом, но если мы спустимся благополучно, то я, в свою очередь, желаю получить награду.

В ответ она только рассмеялась и села на сани. Я посмотрел ей в глаза, они лучились теплом и весельем, тогда я сел впереди нее, велел ей крепко держаться за меня и покатил. Я почувствовал, как она обхватила меня, сцепив руки у меня на груди, хотел что-то еще ей крикнуть, но уже не мог. Крутизна была такой страшной, что мне показалось, будто я падаю в пустоту. Я сразу попытался нащупать ногами землю, чтобы остановиться или опрокинуться, – смертельный страх за Лидди внезапно пронзил мне сердце. Однако было уже поздно. Сани неудержимо летели вниз, я чувствовал только бьющий мне в лицо холодный, колющий вихрь взметенной снежной пыли, потом услышал испуганный крик Лидди и тут же на голову мне обрушился чудовищный удар, будто кузнечного молота, после чего я ощутил резкую боль. Последнее, что я почувствовал, – холод.

Этим коротким лихим спуском на саниах я искупил свои юношеские услады и сумасбродства. Позднее вместе со многим другим испарилась без следа и моя любовь к Лидди.

Я был вне того переполоха и той панической суеты, которые последовали за катастрофой. Для других это был тягостный час. Они слышали крики Лидди, смеялись и поддразнивали нас сверху, глядя в темноту, потом наконец поняли, что случилась какая-то беда, с трудом спустились вниз, и понадобилось некоторое время, покамест они, остыв от опьянения и разгула, начали немного соображать. Лидди была бледна и в полуобмороке, хотя совершенно невредима, у нее оказались только порваны перчатки и немного оцарапаны и окровавлены изящные белые руки. Меня же унесли с места происшествия как покойника. Позднее я тщетно пытался отыскать то яблоневое или грушевое дерево, о которое разбились мои сани и мои кости.

Друзья полагали, что я погиб от сотрясения мозга, хотя на самом деле все обстояло не так уж скверно. Голова и мозг были, правда, повреждены, и прошло очень много времени, прежде чем я пришел в себя в больнице, но рана зажила и мозг поправился. Зато левая нога со множественными переломами не пожелала восстановиться полностью. С тех пор я калека, способный только ковылять, но не ходить или, тем более, бегать и танцевать. Таким образом моей юности нежданно был указан путь в более тихий мир, путь, на который я вступил не без стыда и сопротивления. Но я все же на него вступил, и мне иногда кажется, что я ни за что бы не вычеркнул из своей жизни это вечернее катанье на санях и его последствия.

Правда, я думаю при этом не столько о сломанной ноге, сколько о других последствиях того несчастного случая, куда более приятных и отрадных. Было ли тут причиной само несчастье и связанный с ним испуг и взгляд во мрак или то было долгое лежание, месяцы покоя и размышлений – но лечение пошло мне впрок.

Начало этого долгого периода покоя, например первая неделя, совершенно стерлось из моей памяти. Я по многу часов был без сознания, а когда окончательно опаматовался, то лежал ослабевший и ко всему безразличный. Моя мать пришла ко мне в больницу и все дни преданно сидела у моей постели. Когда я на нее смотрел или обменивался с ней несколькими словами, она казалась обрадованной и почти веселой, хотя, как я узнал позднее, она тревожилась за меня, и не столько за мою жизнь, сколько за мой рассудок. Иногда мы с ней подолгу болтали в тихой светлой больничной комнатке. Наши отношения с ней никогда не отличались особой сердечностью, я всегда был больше привязан к отцу. Теперь же мы оба смягчились, она – от сострадания, я – от благодарности, и настроились на примирение, однако мы слишком давно привыкли к бездеятельному ожиданию и вялому равнодушию, чтобы пробудившаяся теперь сердечность могла найти себе выход в наших разговорах. Мы смотрели друг на друга довольными глазами и многого не обсуждали. Она снова была моей матерью, потому что я свалился ей на руки больной и она могла за мной ухаживать, а я смотрел на нее, снова чувствуя себя мальчиком, и временами забывал обо всем остальном. Правда, позднее у нас опять сложились прежние отношения, и мы избегали много говорить о моей тогдашней болезни, ибо это приводило нас обоих в смущение.

Я начал постепенно осознавать свое положение, и, поскольку лихорадочное состояние у меня прошло и внешне я был спокоен, врач перестал делать секрет из того, что памятка о моем падении, видимо, останется у меня на всю жизнь. Я увидел, что моя молодость, которой я не успел еще сколько-нибудь сознательно насладиться, ощутимо урезана и обобрана, и получил достаточно времени для того, чтобы свыкнуться с этой мыслью, так как лежать мне пришлось еще добрых три месяца.

Я всячески старался осмыслить свое положение и представить себе картину будущего, но мало в этом преуспел. Напряженные размышления мне пока еще не давались, всякий раз я быстро уставал и впадал в отдохновенное забытие, коим природа оберегала меня от страха и отчаяния и принуждала к покою ради исцеления. Тем не менее мое несчастье часами терзало меня, и я не мог найти никакого достойного утешения.

Это произошло однажды ночью, когда я проснулся после нескольких часов легкой дремоты. Мне казалось, я видел во сне что-то приятное, и я старался это вспомнить, но тщетно.

На душе у меня было удивительно хорошо и легко, словно я преодолел все неприятности и они уже позади. И вот пока я так лежал и размышлял, омываемый тихими потоками выздоровления и спасения, на уста мне пришла мелодия, почти беззвучная, я стал напевать ее дальше не переставая, и неожиданно, как открывшаяся звезда, на меня вновь глянула музыка, от которой я так долго был отлучен, и мое сердце забилося ей в такт, все мое существо расцвело и дышало теперь новым, чистым воздухом. Я не признавал этого, просто это было со мной и спокойно проникало в меня, словно вдалеке мне пели тихие хоры.

С этим проникновенным и свежим чувством я опять заснул. Утром я проснулся веселый и беззаботный, каким не бывал уже давно. Матушка заметила это и спросила, что меня так радует. Я задумался и через несколько минут сказал ей, что давно не вспоминал о своей скрипке, а теперь она пришла мне на ум и я этому рад.

– Но тебе еще долго не придется на ней играть, – заметила она с некоторой опаской.

– Это не беда, даже если я больше никогда не смогу на ней играть.

Она меня не поняла, а я не мог ей ничего объяснить. Но она заметила, что мне лучше и что за моей беспричинной веселостью не таится некий враг. Через несколько дней она опять осторожно заговорила об этом.

– Послушай, а как у тебя вообще обстоят дела с музыкой? Мы было подумали, что она тебе опротивела, отец даже разговаривал с твоими учителями. Навязывать тебе что-либо мы не хотим, меньше всего – теперь, но мы считаем, если ты обманулся и хотел бы покончить с музыкой, то это надо сделать и не держаться за нее из упрямства или из стыда. Как ты думаешь?

Тут мне опять вспомнилось все это время отчуждения и разочарования. Я попытался рассказать матушке, как шли мои дела, и она, кажется, поняла. Но теперь, сказал я, у меня вновь появилась уверенность в своей правоте, во всяком случае, просто убежать я не собираюсь, а хочу доучиться до конца. На этом покамест и порешили. В глубинах моей души, куда не могла заглянуть эта женщина, была сплошная музыка. Повезет мне с игрой на скрипке или нет, мир опять звучал для меня как высокое произведение искусства, и я знал, что вне музыки мне нет спасения. Если мое состояние никогда уже не позволит мне играть на скрипке, то придется от этого отказаться, быть может, подыскать себе другую профессию, например стать купцом. В конце концов, не так уж важно, кем я стану, чувствовать музыку я буду ничуть не меньше, буду жить и дышать музыкой. Я начну опять сочинять музыку! Радовался я не игре на скрипке, как сказал матушке, а сочинению музыки, творчеству, от предвкушения которого у меня дрожали руки. Временами я снова чувствовал чистые колебания прозрачного воздуха, напряженную холодность мыслей, как бывало раньше в мои лучшие минуты, и понимал, что в сравнении с этим негнушающаяся нога и другие беды мало что значат.

С этой минуты я был победителем, и сколь часто бы ни перебегали с тех пор мои желания в страну здоровья и юношеских усад, сколь часто бы я с ожесточением и гневным стыдом ни клял и ни ненавидел свое увечье, это страдание никогда не надрывало моих сил, ибо существовало нечто способное и утешить, и озарить меня.

Время от времени отец приезжал навестить нас с матерью, и в один прекрасный день – к этому дню мои дела уже давно пошли на поправку – он забрал ее домой. В первые дни после ее отъезда я чувствовал себя довольно-таки одиноко, к тому же стыдился того, что недостаточно сердечно говорил с ней, недостаточно вникал в ее помыслы и заботы. Однако другое чувство слишком переполняло меня для того, чтобы эти мысли перестали быть только прекраснодушной игрой.

Вдруг ко мне явился неожиданный посетитель, не решавшийся прийти, пока рядом со мной находилась мать. То была Лидди. Я очень удивился ее приходу. В первую минуту даже не вспомнил, как близки мы были с ней недавно и как сильно я был в нее влюблен. Пришла она в большом смущении, которого не умела скрыть, боялась моей матери и даже суда, так как признавала свою вину, и лишь постепенно стала понимать, что дело не так уж плохо и она тут, в

сущности, совсем ни при чем. Тогда она облегченно вздохнула, и все же нельзя было не заметить у нее легкого разочарования. Эта девушка при всех угрызениях совести в глубине своего доброго женского сердца искренне упивалась всей этой историей, таким ужасно потрясающим и трогательным несчастьем. Она даже несколько раз употребила слово «трагический», и я едва удержался от смеха. Вообще Лидди совсем не ожидала найти меня таким бодрым и столь малопочтительным к своему несчастью. Она вознамерилась просить у меня прощения, ведь, даровав ей оное, я как влюбленный должен был почувствовать огромное удовлетворение. Разыгралась бы трогательная сцена, и в итоге она бы вновь победоносно завладела моим сердцем.

Конечно, для глупой девчонки было немалым облегчением увидеть меня таким довольным, а себя – свободной от какой бы то ни было вины или ответственности. Однако она этому облегчению не радовалась, напротив: чем больше успокаивалась ее совесть и улечивался страх, с которым она пришла, тем молчаливей и холодней она становилась. В довершение всего ее еще заметно обидело, что я так низко оценил ее участие в этой истории, даже как будто бы забыл о нем, что в зародыше подавил растроганность и просьбу о прощении и лишил ее задуманной красивой сцены. Что я больше нисколько в нее не влюблен, она поняла очень хорошо, несмотря на мою безукоризненную вежливость, и это было самое худшее. Пусть бы я потерял руки и ноги, все же я был ее поклонником, которого она, правда, не любила и так и не осчастливила, но чьи вздохи доставляли ей тем больше удовлетворения, чем жалостней они были. Теперь же от этого ничего не осталось, она прекрасно это поняла, и я увидел, как на ее красивом лице понемногу гаснут и остывают тепло и участие сострадательной посетительницы к больному. В конце концов, напыщенно попрощавшись, она ушла и больше не приходила, хотя клятвенно обещала.

Как бы ни было мне обидно и как бы ни страдало мое самолюбие оттого, что моя прежняя любовь обернулась чем-то мелким и смешным, все же этот визит пошел мне на пользу. Я был очень удивлен, впервые глядя на эту красивую, обворожительную девушку без страсти и ослепления и убедившись в том, что совсем ее не знал. Если бы мне показали куклу, которую я обнимал и любил в трехлетнем возрасте, то отчуждение и перемена в чувствах не могли бы поразить меня сильнее, нежели теперь, когда я увидел перед собой девушку, еще несколько недель назад столь горячо желанную и вдруг ставшую мне совершенно чужой.

Из товарищей, принимавших участие в этой зимней воскресной вылазке, двое несколько раз меня навестили, но у нас мало о чем нашлось поговорить, и я заметил, как облегченно они вздохнули, когда дела у меня пошли на поправку и я попросил их больше мне жертв не приносить. Позднее мы никогда не встречались. Это было удивительно и произвело на меня болезненно-странное впечатление: все, что относилось к моей жизни в эти юношеские годы, отпало от меня, стало чуждым и было утрачено. Я вдруг увидел, как фальшиво и печально жил все это время, раз любовь, друзья, привычки и радости тех лет теперь спали с меня, как ветхая одежда, отделились без боли, так что оставалось лишь удивляться, как это я мог столь долго их выдерживать или как они могли выдерживать меня.

Зато полным сюрпризом для меня был другой визит, которого я никак не ожидал. В один прекрасный день ко мне пришел мой учитель по классу фортепиано, строгий и насмешливый господин. Он не отставил трость, не снял перчаток, разговаривал своим обычным суровым, почти едким тоном, то злосчастное катанье на санях назвал «бабьим вождением» и, судя по тону сказанного, видимо, считал постигшее меня невезенье вполне заслуженным. И все же было удивительно, что он сюда явился, к тому же выяснилось – хоть тона он не изменил, – что пришел он не с каким-то дурным намерением, а для того, чтобы сказать: он считает меня, невзирая на мою медлительность, неплохим учеником, его коллега, учитель по классу скрипки, такого же мнения, так что они надеются, что вскоре я вернусь здоровым и доставлю им радость. И хотя эта речь, казавшаяся почти извинением за прежнее грубое обращение со мной, была произнесена совершенно тем же ожесточенно-резким тоном, как и все предыдущее, для меня

она прозвучала, словно объяснение в любви. Я с благодарностью протянул руку нелюбимому учителю и, чтобы выразить доверие к нему, попытался объяснить, каково мне пришлось в последние годы и как теперь начинает оживать моя старая сердечная привязанность к музыке. Профессор покачал головой и, насмешливо присвистнув, спросил:

– Ага, вы хотите стать композитором?

– Если получится, – подавленно сказал я.

– Тогда желаю удачи. Я-то думал, теперь вы, может быть, с новой энергией начнете заниматься, но как композитору вам это, разумеется, ни к чему.

– О, я не это имел в виду.

– Да, а что же? Знаете, когда студент консерватории ленив и не желает работать, он всегда берется за композицию. Это может каждый, и, как известно, каждый непременно гений.

– Я в самом деле так не думаю. Значит, я должен стать пианистом?

– Нет, сударь мой, для этого у вас все же не хватит данных. Но научиться прилично играть на скрипке вы бы еще могли.

– Так я же этого и хочу.

– Надеюсь, вы говорите серьезно. Позвольте откланяться. Желаю скорейшего выздоровления и – до свидания!

С этими словами он удалился, изрядно меня озадачив. О возвращении к занятиям я пока почти не думал. Теперь я стал бояться, что дело может опять пойти трудно и безрадостно и под конец все снова будет так, как раньше. Однако такие мысли у меня вскоре развеялись, к тому же выяснилось, что визит ворчливого профессора был сделан с поистине добрыми намерениями, в знак искреннего благоволения.

По выходе из больницы я должен был поехать на отдых, но предпочел подождать с этой поездкой до летних каникул и сразу же взяться за работу.

Тут я впервые почувствовал, какое удивительное воздействие может оказать период покоя, особенно вынужденного. Я приступил к урокам и упражнениям с неверием в себя, но все пошло лучше, чем прежде. Правда, теперь я отчетливо понял, что виртуоз из меня никогда не выйдет, однако это открытие в моем нынешнем состоянии не причинило мне боли. В остальном дела шли хорошо, а главное, за время долгого перерыва непроходимая чаща теории музыки, учения о гармонии и теории композиции превратилась для меня в легко доступный, приветливый сад. Я чувствовал, что озарения и опыты моих счастливых часов не лежат больше в стороне от всяких законов и правил, что посреди строгого ученического послушания пролегает узкая, но ясно различимая дорога к свободе. Правда, еще выдавались часы, дни и ночи, когда я словно бы натыкался на забор из колючей проволоки и с израненным мозгом мучительно преодолевал противоречия и пробелы; но отчаяние не возвращалось ко мне, а узкая тропа перед моими глазами становилась все более явственной и торной.

В конце семестра, прощаясь со мной перед каникулами, преподаватель теории музыки, к моему удивлению, сказал:

– Вы единственный студент этого курса, который, кажется, действительно что-то смыслит в музыке. Если вам когда-либо доведется сочинить какую-то вещь, я бы охотно на нее взглянул.

Эти утешительные слова еще звучали у меня в ушах, когда я уезжал на каникулы. Я уже давненько не бывал дома, и теперь, пока ехал в поезде, родной край вновь подступил к моему сердцу, потребовал моей любви и вызвал поток наполовину утраченных воспоминаний о детстве и первых годах отрочества. На вокзале моего родного города меня встретил отец, и мы покатались на дрожжах домой. Уже на следующее утро мне захотелось прогуляться по старым улицам. И тут меня в первый раз охватила печаль по моей утраченной стройной юности. Это было мукой – ковылять с палкой на искривленной и негнушейся ноге по улочкам, где каждый угол напоминал мне о мальчишеских играх и невозвратимых радостях. Я пришел домой грустный, и, кого бы я ни видел, чей бы голос ни слышал, о чем бы ни думал, все беспощадно напо-

минало мне о прежнем времени и о моем увечье. К тому же я страдал оттого, что матушка, по всей очевидности, была еще меньше, чем когда-либо, согласна с выбранной мною профессией, хотя и не высказывала этого вслух. С музыкантом, который мог бы выступать на стройных ногах как виртуоз или молодцеватый дирижер, она бы еще с грехом пополам примирилась, но как намеревался человек с ограниченной подвижностью, с посредственной аттестацией и робким характером добиваться успеха в качестве скрипача – это ей было непонятно. В этом настроении ее поддерживала одна старая приятельница и дальняя родственница, которой мой отец однажды отказал от дома, за что она платила ему злобной ненавистью, при этом вовсе не избегая нас – она часто приходила к матери в часы, когда отец был занят в конторе. Меня она терпеть не могла, хотя со времен моего детства не обменялась со мной ни единым словом, в выбранной мною профессии видела прискорбный признак вырождения, а в моем несчастье – явную кару и перст Всевышнего.

Желая доставить мне радость, отец договорился, чтобы меня пригласили для сольного выступления в городское музыкальное общество. Но выступать я отказался и целыми днями просиживал в своей комнатухе, где жил еще ребенком. Особенно мучили меня вечные расспросы и необходимость отвечать на них, так что я совсем перестал выходить. При этом я поймал себя на том, что наблюдаю из окна за жизнью улицы, за ребятишками-школьниками и прежде всего за молодыми девушками с горестной завистью.

Как смею я надеяться, думал я, когда-нибудь снова выказать любовь к какой-нибудь девушке! Мне придется всегда стоять в сторонке, как на танцах, стоять и смотреть, девушки станут считать меня неполноценным, а если одна из них когда-нибудь и будет со мной ласкова, то только из сострадания! Ах, состраданием я был сыт до тошноты.

При таких обстоятельствах я не мог оставаться дома. Родители тоже немало страдали от моего раздражительного уныния и почти не спорили, когда я попросил у них разрешения прямо сейчас отправиться в давно намеченное путешествие, обещанное мне отцом. Позднее мой физический недостаток тоже не раз причинял мне беспокойство и разрушал дорогие моему сердцу желания и надежды, однако, пожалуй, никогда не ощущал я мою слабость и искалеченность так жгуче и так мучительно, как в те дни, когда вид каждого здорового молодого человека и каждой красивой женской фигуры вызывал у меня чувство униженности и причинял боль. Подобно тому как я постепенно привыкал к хромоте и к палке, пока не перестал их замечать, так же пришлось мне с годами привыкнуть к своей обособленности и относиться к ней с покорностью и юмором.

К счастью, я был в силах путешествовать в одиночестве и не нуждался в особом присмотре, любой сопровождающий был бы мне противен и мешал бы моему внутреннему исцелению. Мне стало легче уже в поезде, где никто нарочито и сочувственно меня не разглядывал. Я ехал без остановок день и ночь, чувствуя себя настоящим беглецом, и вздохнул полной грудью, когда на другой вечер сквозь мутные окна вагона увидел острые вершины высоких гор. С наступлением темноты я прибыл на конечную станцию, усталый и довольный дошел по темным улицам городка в кантоне Граубюнден до первой попавшейся гостиницы и после бокала темно-красного вина проспал десять часов кряду, сбросив с себя дорожную усталость, а заодно и изрядную долю привезенной с собой подавленности.

Утром я сел в вагончик горной железной дороги, которая вела через узкие долины, мимо белых пенистых потоков, в глубь гор, а потом, на маленьком пустынном вокзальчике, – в пролетку и в полдень очутился наверху, в одном из самых высокогорных селений страны.

Здесь, в единственной маленькой гостинице тихой бедной деревушки, будучи временами ее единственным постояльцем, я прожил до осени. Вначале я намеревался лишь немного тут отдохнуть, затем продолжить путешествие по Швейцарии, немного повидать мир и новые места. Однако на той высоте человека овеял воздух, полный такой суровой ясности и величия, что я вообще не хотел с ним расставаться. Одна сторона высокогорной долины почти

до самого верха поросла ельником, другой, пологий скат был обнаженной скалой. Я проводил свои дни среди опаленных солнцем камней или возле одной из бурливых горных речек, чья песня ночами звучала на всю деревню. В первые дни я наслаждался одиночеством, как холодным целебным напитком, никто не смотрел мне вслед, никто не выказывал мне любопытства или сочувствия, я был свободен и одинок, как птица в поднебесье, и скоро забыл свое страдание и болезненное чувство зависти. Порой я сожалел, что не могу уйти далеко в горы, повидать незнакомые долины и Альпы, взобраться вверх по опасным тропам. Но в основном я чувствовал себя прекрасно, после переживаний и волнений минувших месяцев тишь одиночества окружила меня, словно крепостной стеной, я вновь обрел нарушенный душевный покой и научился мириться с моей телесной немощью если и не с удовлетворением, то все же с покорностью судьбе.

Недели, проведенные там, наверху, остались едва ли не лучшими в моей жизни. Я вдыхал чистый сияющий воздух, пил ледяную воду горных рек, смотрел, как на крутых склонах пасутся козы стада, охраняемые черноволосыми мечтательно-молчаливыми пастухами, временами слышал, как по долине проносятся бури, видел перед собой в непривычной близости туманы и облака. В расселинах скал я наблюдал маленький, нежный, красочный мир цветов и разнообразие великолепных мхов, а в погожие дни охотно с часок поднимался вверх до тех пор, пока за вершиной на той стороне не открывался вид на далекие, четко прорисованные пики высоких гор с синими тенями и неземным сиянием серебряных снегов. В одном месте пешей тропы, где из малого, скудного источника бежала тонкая струйка воды и всегда было сыро, однажды ясным днем я увидел целый рой мелких голубых мотыльков, которые сели пить и с моим приближением почти не тронулись с места, а когда я все же их вспугнул, зашелестели вокруг меня своими крошечными шелковисто-ласковыми крылышками. С тех пор как я их обнаружил, я ходил этой дорогой только в солнечные дни, и всякий раз плотная голубая стайка была на месте, и всякий раз это был праздник.

Но если вспомнить поточнее, то время окажется, пожалуй, не таким уж сплошь голубым, солнечным и праздничным, каким оно осталось у меня в памяти. Случались не только туманные и дождливые дни, даже снег и стужа, – во мне самом тоже случались бури и ненастье.

Я не привык быть один, и, когда миновали первые недели отдыха и сладостного покоя, страдание, от которого я бежал, порой вдруг опять подступало ко мне ужасающе близко. В иные холодные вечера я сидел в своей крошечной комнатке, укутав колени пледом, усталый и незащищенный перед своими дурацкими мыслями. Все, чего желает и ждет молодое существо – танцульки, женская ласка и приключения, триумф силы и любви, – все это находилось далеко, на другом берегу, навсегда отгороженное от меня и навсегда недостижимое. Даже то время своенравной распушенности, время отчасти деланного веселья, концом которого стало мое падение с саней, представало тогда в моих воспоминаниях прекрасным и райски расцветенным, словно потерянная страна радости, отзвук которой лишь издали долетал до меня вместе с затихающим вакхическим восторгом.

А когда ночами порой налетали бури, когда холодный ровный шум водопадов заглушался страстно-жалостным ропотом расшумевшегося ельника или в стропилах обветшалого дома начинали звучать тысячи неведомых шорохов бессонной летней ночи, – я лежал погруженный в безнадежные пылкие мечты о жизни и любовном урагане, лежал, ярясь и богохульствуя, и казался себе жалким поэтом и мечтателем, чья прекраснейшая мечта – всего лишь мерцающий мыльный пузырь, между тем как тысячи других молодых людей по всему свету, упиваясь своей юной силой, ликуя протягивают руки к сверкающим венцам этой жизни.

Однако подобно тому, как я ощущал, будто неземная красота гор и все, что ежедневно воспринимали мои чувства, видится мне лишь сквозь завесу и говорит со мною лишь из странного далека, так же между мною и моим часто столь безумно прорывавшимся страданием возникали завеса и легкое отчуждение, и вскоре дело дошло до того, что и то и другое – дневное

сияние и ночное смятение – я стал воспринимать как голоса извне, которые я мог слушать уже со спокойным сердцем. Я видел и ощущал себя самого, как небо с плывущими по нему облаками, как поле, заполненное толпами воюющих, и было то отрадой и наслаждением или страданием и тоской, и одно и другое звучало ясней и понятней, отделялось от моей души и подступало ко мне снаружи в виде созвучий и звуковых рядов, которым я внимал, словно во сне, и которые завладевали мной помимо моей воли.

Однажды в тихий вечер, когда я возвращался с прогулки среди скал и впервые отчетливо все это почувствовал, глубоко задумался над этим загадочным для меня самого состоянием, – тогда мне внезапно пришло на ум, что все это значит и что это возвращение тех странных часов отрешенности, которые я предугадывал и предвкушал в более ранние годы. И вместе с этим воспоминанием пришла опять чудесная ясность, почти хрустальная прозрачность чувств, каждое из них предстало без маски, и ни одно из них не называлось больше скорбью или счастьем, а означало только силу, звучание и поток. Из движения, переливов и борений моих обостренных чувств родилась музыка.

Теперь в мои светлые дни я смотрел на солнце и лес, бурые скалы и далекие серебристые горы с зарождающимся чувством счастья, красоты, а в мрачные часы чувствовал, как мое больное сердце ширится и возмущается с удвоенным пылом, я больше не отличал наслаждения от скорби, одно было схоже с другим, и то и другое причиняло боль, и то и другое было сладостно. И в то время как я испытывал в душе довольство или тоску, проснувшаяся во мне сила спокойно взирала на все это сверху, признавая светлое и темное как братское единство, страдание и покой как такты, и движения, и части одной и той же великой музыки.

Я не мог записать эту музыку, она была еще незнакома мне самому, ее границы также были мне неизвестны. Но я мог ее слышать, мог ощутить мир внутри себя как совершенство. И кое-что я все-таки способен был удержать – малую часть и отзвук, уменьшенные и переложенные. Об этом я думал отныне целыми днями, впивал это в себя и пришел к выводу, что это можно выразить с помощью двух скрипок, и начал тогда, словно птенец, дерзнувший пуститься в полет, в полной неискушенности записывать свою первую сонату.

Когда однажды утром в своей комнатухе я сыграл на скрипке первую фразу, то вполне почувствовал всю ее слабость, незавершенность и неуверенность, и все же каждый такт заставлял трепетать мое сердце. Я не знал, хороша ли эта музыка; но я знал, что это моя собственная музыка, рожденная во мне из пережитого и нигде прежде не слышанная.

Внизу, в зале для посетителей, из года в год сидел неподвижный и белый, как ледяная сосулька, отец хозяина, старик восьмидесяти с лишком лет, который никогда не произносил ни слова и только спокойными глазами заботливо оглядывал все вокруг. Оставалось тайной, то ли этот торжественно молчащий человек обладает сверхчеловеческой мудростью и душевным спокойствием, то ли его умственные способности угасли. К этому старцу я спустился в то утро со скрипкой под мышкой – я заметил, что он всегда внимательно прислушивается к моей игре и к музыке вообще. Так как я застал его одного, то встал перед ним, настроил свою скрипку и сыграл ему первую фразу. Дряхлый старец не сводил с меня спокойных глаз с желтоватыми белками и красными веками и слушал, и когда я вспоминаю о той музыке, то снова вижу этого старца, его неподвижное каменное лицо с устремленными на меня спокойными глазами. Кончив играть, я кивнул ему, он хитро подмигнул мне и, казалось, все понял, его желтоватые глаза ответили на мой взгляд, потом он отвернулся, слегка опустил голову и снова затих в своей прежней оцепенелости.

Осень на этой высоте началась рано, и в утро моего отъезда стоял густой туман и тонкой водяной пылью сеялся холодный дождь. Я же взял с собой в дальнейший жизненный путь солнце моих лучших дней и, помимо благодарных воспоминаний, еще и хорошее настроение.

Глава 3

В течение моего последнего семестра в консерватории я познакомился с певцом Муотом, который пользовался в городе довольно лестной репутацией. Четыре года тому назад окончил курс и был сразу же принят в придворную оперу, где выступал пока что во второстепенных ролях и не мог еще по-настоящему блистать рядом с популярными старшими коллегами, но, по мнению многих, был восходящей звездой, певцом, которому оставался всего шаг до славы. Мне он был известен по некоторым его ролям на сцене и всегда производил на меня сильное впечатление, хотя пел и не совсем чисто.

Знакомство наше началось так: вернувшись к занятиям, я принес тому преподавателю, который проявил ко мне такое дружеское участие, свою скрипичную сонату и две сочиненные мною песни. Он обещал просмотреть мои работы и высказать свое мнение. Много времени прошло, прежде чем он это сделал, и всякий раз, когда я с ним встречался, я замечал у него некоторое смущение. Наконец в один прекрасный день он позвал меня к себе и возвратил мне мои ноты.

– Вот они, ваши работы, – сказал он несколько стеснительно. – Надеюсь, вы не связывали с ними слишком больших надежд. В этих сочинениях, несомненно, кое-что есть, и что-то из вас может получиться. Но, откровенно говоря, я считал вас уже более зрелым и умиротворенным, да и вообще не предполагал в вашей натуре такой страстности. Я ожидал чего-то более спокойного и легкого, что было бы технически крепче и о чем уже можно судить с профессиональной точки зрения. А эта ваша работа технически не удалась, и я мало что могу тут сказать, к тому же это дерзкий опыт, которого я оценить не могу, но как ваш учитель не склонен хвалить. Вы дали и меньше, и больше, чем я ожидал, и тем поставили меня в затруднительное положение. Во мне слишком глубоко сидит учитель, чтобы я мог не замечать погрешностей стиля, а о том, искупаются ли они оригинальностью, я судить не берусь. Так что я хочу подождать, пока не увижу еще чего-нибудь из ваших сочинений, и желаю вам удачи. Писать музыку вы будете и впредь, это я понял.

С этим я ушел и не знал, как мне быть с его суждением, которое и суждением-то не было. Мне казалось, что по какой-либо работе можно без труда определить, как она создавалась – для забавы и времяпрепровождения или из потребности, от души.

Я отложил ноты в сторону и решил на время обо всем этом забыть, чтобы в последние учебные месяцы хорошенько приналечь на занятия.

И вот однажды меня пригласили в гости в один дом, к знакомым моих родителей, где обычно музицировали и где я имел обыкновение бывать раз-другой в году. Это было такое же вечернее собрание, как и многие другие, разве что здесь присутствовало несколько оперных знаменитостей, я всех их знал в лицо. Был там и певец Муот, интересовавший меня больше остальных, – я впервые видел его так близко. Это был красивый темноволосый мужчина, высокий и статный, державшийся уверенно, с некоторыми замашками избалованного человека, нетрудно было заметить, что он пользуется успехом у женщин. Однако, если отвлечься от его манер, он не выглядел ни заносчивым, ни довольным, наоборот: в его взгляде и выражении лица было что-то пылливое и неудовлетворенное. Когда меня ему представили, он коротко и чопорно мне поклонился, но разговора не начал. Однако через некоторое время вдруг подошел ко мне и сказал:

– Ведь ваша фамилия Кун? Тогда я вас уже немножко знаю. Профессор С. показал мне ваши работы. Не сердитесь на него, нескромность у него не в обычае. Но я как раз зашел к нему, и, поскольку среди ваших вещей была песня, я с его разрешения ее посмотрел.

Я был удивлен и смущен.

– Зачем вы об этом говорите? – спросил я. – Профессору она, по-моему, не понравилась.

– Вас это огорчает? Ну, а мне ваша песня очень понравилась, я бы мог ее спеть, если бы у меня было сопровождение, о чем я хотел попросить вас.

– Вам понравилась песня? Да разве ее можно петь?

– Конечно, можно, правда, не во всяком концерте. Я бы хотел получить ее для себя, для домашнего употребления.

– Я перепишу ее для вас. Но зачем она вам?

– Затем, что она меня интересует. Это же настоящая музыка, ваша песня, да вы и сами это знаете!

Он посмотрел на меня – его манера смотреть на людей была для меня мучительна. Он глядел мне прямо в лицо, совершенно откровенно меня изучая, и глаза его были полны любопытства.

– Вы моложе, чем я думал. И должно быть, извели уже много горя.

– Да, – ответил я, – но я не могу об этом говорить.

– И не надо, я ведь не собираюсь вас расспрашивать.

Его взгляд смутил меня, к тому же он был в некотором роде знаменитость, а я еще только студент, так что защищаться мог лишь слабо и робко, хотя его манера спрашивать мне совсем не понравилась. Надменным он не был, но как-то задевал мою стыдливость, а я едва способен был обороняться, потому что настоящей неприязни к нему не испытывал. У меня было такое чувство, что он несчастен и к людям подступает с невольной напористостью, словно хочет вырвать у них нечто способное его утешить.

Пытливый взгляд его темных глаз был столь же дерзким, сколь печальным, а лицо – много старше, чем он был на самом деле.

Немного погодя – его обращение ко мне все еще занимало мои мысли – я увидел, что он вежливо и весело болтает с одной из хозяйских дочерей, которая восторженно внимала ему и смотрела на него, как на чудо морское.

После моего несчастья я жил так одиноко, что эта встреча еще много дней отзывалась во мне и лишала меня покоя. Я был не настолько уверен в себе, чтобы не опасаться человека более сильного, и все же слишком одинок и зависим, чтобы не чувствовать себя польщенным сближением с ним. В конце концов я подумал, что он забыл про меня и про свой каприз в тот вечер. И вдруг он явился ко мне домой, приведя меня в замешательство.

Это было в один из декабрьских вечеров, когда уже совсем стемнело. Певец постучался и вошел так, как будто бы в его визите не было ничего необыкновенного, и сразу же, без всяких предисловий и любезностей, завел деловой разговор. Я должен был дать ему песню, а когда он увидел у меня в комнате взятое напрокат пианино, то пожелал немедленно ее спеть. Пришлось мне сесть за инструмент и аккомпанировать ему, и так я впервые услышал, как звучит моя песня в хорошем исполнении. Она была печальна и невольно захватила меня, ибо он пел ее не как певец-профессионал, а тихо и словно бы про себя. Текст, который я в прошлом году прочел в одном журнале и списал, звучал так:

Коли фён задул
И с гор лавину погнал
Под смертный вой и гул,
То Господь послал?
Коль в юдоли сей
Скитаться мой удел,
Чужим среди людей,
Господь так повелел?
Зрит он, что изнемог
Я в муках жизнь влачить?

Ах, умер Бог!
Зачем мне жить?¹

Услышав, как он поет эту песню, я понял, что она ему понравилась.

Несколько минут мы молчали, потом я спросил, не может ли он указать мне мои ошибки и предложить исправления. Муот взглянул на меня своим неподвижным темным взглядом и покачал головой.

– Исправлять тут нечего, – сказал он. – Не знаю, хороша ли композиция, в этом я совсем ничего не смыслю. В песне есть переживание и есть душа, и коли сам я не пишу ни стихов, ни музыки, мне бывает приятно найти что-то такое, что кажется мне как бы своим и что я могу напевать про себя.

– Но текст мне не принадлежит, – вставил я.

– Да? Ну все равно, текст – дело второстепенное. Вы наверняка его прочувствовали, иначе не написали бы музыку.

Тогда я предложил ему переписанные ноты, которые приготовил еще несколько дней тому назад. Он взял эти листы, свернул трубочкой и сунул в карман пальто.

– Зайдите как-нибудь и вы ко мне, если пожелаете, – сказал он и подал мне руку. – Вы живете в одиночестве, я его нарушать не хочу. Однако время от времени все же приятно пови-
даться с порядочным человеком.

Он ушел, а его последние слова и улыбка запали мне в душу, они были созвучны той песне, которую он спел, и всему тому, что я до сего времени знал об этом человеке. И чем дольше я все это носил в себе и рассматривал, тем отчетливей оно становилось, и наконец я понял этого человека. Я понял, почему он ко мне пришел, почему моя песня ему понравилась, почему он почти невежливо на меня нажимал и показался мне одновременно и робким, и наглым. Он страдал, он носил в себе глубокую боль и изголодался от одиночества, как волк. Этот страдалец пробовал делать ставку на гордость и уединение, но не выдержал и теперь притаился, высматривая людей, ловя добрый взгляд и намек на понимание, и ради этого готов был унижаться. Так думал я в то время.

Мое отношение к Генриху Муоту было мне неясно. Я, правда, чувствовал его тоску и страдание, но боялся его, как человека более сильного и жестокого, который мог использовать меня и бросить. Я был еще слишком молод, у меня было еще слишком мало переживаний, чтобы я мог понять и оправдать то, как он словно бы обнажался и, казалось, не ведал стыдливости страдания. Но я видел и другое – страдал и был оставлен в одиночестве пылкий и искренний человек. Мне сами собой вспомнились слухи про Муота, достигшие моих ушей, невнятная студенческая болтовня, однако моя память вполне сохранила их тон и окраску. Рассказывали дикие истории про его похождения с женщинами, и, хотя подробностей я не помнил, мне мерещилось что-то кровавое, будто бы он был замешан в какую-то историю с убийством или самоубийством.

Когда я вскоре после этого преодолел свою робость и расспросил одного товарища, дело оказалось безобиднее, чем оно мне представлялось. Как рассказывали, у Муота была связь с некой молодой дамой из высшего общества, правда, два года тому назад она лишила себя жизни, однако на причастность певца к этой истории люди позволяли себе лишь намекать, не более того. Наверно, моя собственная фантазия, возбужденная встречей с этим своеобразным и не вполне приятным мне человеком, создала вокруг него это облако страха. Однако, так или иначе, с этой своей возлюбленной он наверняка пережил что-то недоброе.

¹ «Коли фён задул»... – Как и большинство других стихотворений, вошедших в те или иные прозаические вещи Гессе, создано почти одновременно с работой над романом. Впервые опубликовано в журнале «Югенд» в 1909 году. – *Здесь и далее примеч. пер.*

Пойти к нему у меня не хватало мужества. Правда, я отдавал себе отчет в том, что Генрих Муот – страдающий, а возможно, и отчаявшийся человек, который хватается за меня и жаждет моего общества, и порой мне казалось, я должен откликнуться на этот зов и буду подлецом, если этого не сделаю.

И все-таки я не шел к нему, меня удерживало другое чувство. Я не мог дать Муоту того, что он у меня искал, я был совсем другим, не похожим на него человеком, и хотя я тоже во многих отношениях оставался одинок и не вполне понят людьми, отделенный от большинства своей судьбой и склонностями, я все же не хотел привлекать к этому внимание. Пусть певец был демоническим человеком, зато я – нет, внутреннее чувство удерживало меня от всего броского и необыкновенного. Резкая жестикуляция Муота вызывала у меня неприязнь и протест, он был человек театра и, казалось мне, любитель приключений, возможно, предназначенный к тому, чтобы прожить жизнь трагическую и весьма заметную. Я же, напротив, хотел оставаться в тиши, жесты и смелые слова были мне не к лицу, я был предназначен для самоотречения. Так я терзался раздумьями, ища успокоения. Ко мне в дверь постучался человек, который вызывал у меня жалость и которого я, по справедливости, наверное, должен был считать выше себя, но я оберегал свой покой и не хотел его впускать. Я ретиво взялся за работу, но не мог отделаться от мучительного представления, будто позади меня стоит некто и пытается меня схватить.

Поскольку я не приходил, Муот опять взял дело в свои руки. Я получил от него письмецо, оно было написано крупным гордым почерком, и в нем говорилось:

«Милостивый государь! Одиннадцатого января я имею обыкновение праздновать свой день рождения в компании друзей. Вы позволите мне пригласить и вас? Было бы прекрасно, если бы мы могли по этому случаю услышать вашу скрипичную сонату. Что вы об этом думаете? Есть ли у вас коллега, с которым вы могли бы ее сыграть, или я должен кого-нибудь к вам прислать? Штефан Кранцль был бы не прочь. Вы доставили бы этим радость вашему Генриху Муоту».

Этого я не ожидал. Мою музыку, еще никому не ведомую, мне предстояло исполнить перед знатоками, и я должен был играть в паре с Кранцлем! Пристыженный и благодарный, я согласился, и через два дня Кранцль попросил меня прислать ему ноты. А еще через несколько дней он пригласил меня к себе. Известный скрипач был еще молод, но уже по внешним признакам – чрезвычайная худоба и бледность – в нем угадывался тип виртуоза.

– Так, – сказал он сразу, как я вошел. – Значит, вы приятель Муота. Что ж, тогда давайте сразу и начнем. Если мы сосредоточимся, то с двух-трех раз дело у нас пойдет.

Сказав это, он поставил мне стул, положил передо мной партию второй скрипки, показал такт и заиграл своим легким, чувствительным штрихом, так что рядом с ним я совершенно сник.

– Только не робеть! – крикнул он мне, не прерывая игры, и мы проиграли все до конца.

– Так, получается! – сказал он. – Жаль, что у вас нет скрипки получше. Но ничего. Allegro мы пустим теперь чуточку быстрее, чтобы его не приняли за похоронный марш. Начали!

И, доверившись виртуозу, я стал играть в дуэте с ним мою собственную пьесу, моя простая скрипка звучала вместе с его драгоценной, словно так и должно быть, и я был удивлен, обнаружив, что этот изысканного вида господин столь непринужден, даже наивен. Когда я перестал смущаться и немного набрался храбрости, то нерешительно попросил его высказать свое суждение о моей пьесе.

– Об этом вам надо бы спросить кого-нибудь другого, сударь мой, я мало что в этом понимаю. Она действительно чуточку необычна, но как раз это людям и нравится. Если соната нравится Муоту, вы вправе уже кое-что возомнить о себе – он ведь глотает не все подряд.

Он дал мне несколько советов касательно игры и показал некоторые места, где были необходимы исправления. Затем мы уговорились о следующей репетиции назавтра, и я ушел.

Для меня было утешением обнаружить в этом скрипаче такого простого и славного человека. Если он принадлежал к кругу друзей Муота, то и я с грехом пополам мог бы там удержаться. Правда, он был законченный артист, а я – начинающий, без больших видов на будущее. Только мне было жаль, что никто не хочет высказаться прямо о моей работе. Самое суровое суждение было бы мне приятнее, чем эти добродушные фразы, которые ни о чем не говорили. В те дни стоял страшный холод, едва удавалось обогреть комнату. Мои товарищи гоняли на коньках, близилась годовщина нашей прогулки с Лидди. Для меня это было малоприятное время, и я радовался предстоящему вечеру у Муота, не возлагая на него особых надежд, поскольку давно уже не видел друзей, не ведал веселья. В ночь на одиннадцатое января я проснулся от какого-то необычного шума и прямо-таки пугающего тепла. Я встал и подошел к окну, удивляясь, что холода больше нет. Внезапно налетел южный ветер, с силой пригнав влажный, тепловатый воздух, в вышине буря гнала большие, тяжелые гряды облаков, и сквозь узкие просветы между ними сияли удивительно крупные, ослепительные звезды. На крышах виднелись уже темные пятна, а утром, когда я вышел из дому, весь снег стоял. Улицы и лица людей выглядели странно изменившимися, и надо всем веяло преждевременное дыхание весны.

В те дни я расхаживал в состоянии лихорадочного возбуждения, отчасти из-за южного ветра и хмельного воздуха, отчасти из-за сильного беспокойства в ожидании предстоящего вечера. Я часто брал свою сонату, играл какие-то куски оттуда и снова ее отбрасывал. То я находил ее действительно прекрасной и испытывал горделивую радость, то она вдруг казалась мне мелкой, разорванной и неясной. Этого возбуждения и тревоги я бы долго не выдержал. В конце концов я уже просто не знал, радуюсь я близящемуся вечеру или боюсь его.

Он тем не менее наступил. Я надел сюртук, взял футляр со скрипкой и отправился к Муоту домой. С трудом отыскал я в темноте в отдаленном предместье, на незнакомой и безлюдной улице, нужный мне дом, он стоял один посреди большого сада, который выглядел запущенным и неухоженным. Едва я приоткрыл незапертую калитку, на меня набросилась большая собака, которую отозвали свистом из окна, и она, ворча, сопровождала меня до входа в дом, откуда навстречу мне вышла низенькая пожилая женщина с боязливыми глазами, приняла от меня пальто и проводила дальше по ярко освещенному коридору.

Скрипач Кранцль жил в окружении очень изысканных вещей, и я ожидал, что и у Муота, которого считали богатым, обстановка также окажется довольно-таки блестящей. Я и впрямь увидел большие, просторные комнаты, слишком большие для холостяка, мало бывающего дома, но все остальное там было обыкновенным или, в сущности, не обыкновенным, а случайным и беспорядочным. Мебель была частью старая и потому казалась принадлежностью этого дома, в то же время тут и там стояли новые вещи, купленные без разбору и непродуманно расставленные. Блестящим было только освещение. Горел не газ, а множество белых свечей в простых и красивых оловянных подсвечниках, в гостиной же висело нечто вроде люстры – незамысловатое латунное кольцо, утыканное свечами. Главным же здесь был очень красивый рояль. В комнате, куда меня провели, стояла группа мужчин, занятых разговором. Я поставил футляр и поздоровался, некоторые кивнули мне и снова обратились к собеседникам, а я остался стоять в стороне. Но вот ко мне подошел Кранцль – он был в этой группе, но не сразу меня заметил, – подал мне руку, представил своим знакомым и сказал:

– Это наш новый скрипач. А скрипку вы принесли? – Потом крикнул в соседнюю комнату: – Э-э, Муот, этот, с сонатой, уже здесь.

Муот сразу вошел, очень сердечно со мной поздоровался и повел в комнату с роялем, где все выглядело празднично и уютно, и красивая женщина в белом платье налила мне рюмку шерри. Это была артистка придворного театра, впрочем, других коллег хозяина дома я, к моему удивлению, среди гостей не увидел, к тому же эта артистка была здесь единственной дамой.

Когда я быстро осушил свою рюмку, наполовину от смущения, наполовину от инстинктивной потребности согреться после хождения по ночной сырости, она налила мне еще одну, не считаясь с моим протестом.

– Да выпейте же, вреда в этом нет. Еду подадут только после музыки. Вы ведь принесли с собой скрипку и сонату?

Я ответил ей сухо, чувствуя себя скованным, к тому же я не знал, в каких она отношениях с Муотом. Она как будто бы играла роль хозяйки, а вообще была усладой для глаз, впрочем, и в дальнейшем я видел моего нового друга всегда только в обществе безупречно красивых женщин.

Тем временем все собрались в музыкальной гостиной, Муот поставил пульт, гости сели, и скоро мы с Кранцлем были уже во власти музыки. Я играл, ничего не чувствуя, мое произведение казалось мне жалким, и лишь мимолетно, как зарницы, у меня нет-нет да и вспыхивало на секунды сознание, что я играю здесь с Кранцлем, и что вот он – долгожданный великий вечер, и что тут сидит небольшое общество знатоков и избалованных музыкантов, перед которыми мы исполняем мою сонату. Только дойдя до рондо, я стал слышать, как великолепно играет Кранцль, в то же время сам я настолько был скован и находился как бы вне музыки, что непрерывно думал о чем-то постороннем, и мне вдруг пришло в голову, что я еще даже не поздравил Муота с днем рождения.

Но вот соната была окончена, красивая дама поднялась, подала руку мне и Кранцлю и открыла дверь в комнату поменьше, где нас ждал накрытый стол, уставленный цветами и бутылками.

– Наконец-то! – воскликнул один из гостей. – Я чуть не умер с голоду.

– Вы просто чудовище, – сказала дама. – Что подумает композитор?

– Какой композитор? Разве он здесь?

– Вот он сидит. – Она указала на меня.

– Вам надо было раньше мне об этом сказать. Впрочем, музыка была очень хорошая.

Однако когда хочется есть...

Мы принялись за еду, и когда с супом было покончено и белое вино разлито по бокалам, Кранцль произнес тост в честь хозяина дома и дня его рождения. Муот поднялся сразу после того, как все чокнулись:

– Дорогой Кранцль, если ты думал, что я сейчас произнесу речь, посвященную тебе, то ты ошибся. Мы вообще больше не будем произносить речей, я вас об этом прошу. Единственную, какая, возможно, еще нужна, я беру на себя. Я благодарю нашего юного друга за его сонату, которую нахожу замечательной. Быть может, наш Кранцль со временем будет рад получить для исполнения его вещи, что ему вполне подходит, ибо он уловил суть этой сонаты. Я пью за композитора и за добрую дружбу с ним.

Все стали чокаться, смеяться, поддразнивать меня, и вскоре веселое застолье, подогретое хорошим вином, было в разгаре, и я с облегчением ему отдался. Давно уже не знал я подобных удовольствий и такого чувства легкости – в сущности, целый год. Теперь же смех и вино, звон бокалов, нестройный хор голосов и вид красивой веселой женщины отворили мне потерянную дверь к радости, и я незаметно соскользнул в непринужденную веселость легких, оживленных разговоров и смеющихся лиц.

Вскоре все встали из-за стола и вернулись в музыкальную гостиную, где веселая компания разбрелась по углам с вином и сигаретами. Некий тихий господин, который мало говорил и имени которого я не знал, подошел ко мне и сказал несколько добрых слов о моей сонате, о которой я совсем забыл. Потом артистка втянула меня в разговор, и к нам подсел Муот. Мы снова выпили за крепкую дружбу, и вдруг он сказал, сверкая своими мрачно смеющимися глазами:

– Я теперь знаю вашу историю. – И, обратясь к красавице: – Он переломал себе кости, съехав с горы на санях в угоду хорошенькой девушке. – И опять ко мне: – Это прекрасно. В момент, когда любовь в расцвете и на ней еще нет ни пятнышка, сломя голову с горы вниз! За это можно отдать здоровую ногу. – Смеясь, он осушил свой бокал, но взгляд у него опять сделался темным и пытливым, когда он спросил: – А как вы пришли к композиторству?

Я рассказал, как складывались у меня отношения с музыкой, начав с мальчишеских лет, рассказал и о прошлом лете, о моем бегстве в горы, о песне и о сонате.

– Да, – медленно произнес он. – Но почему это приносит вам радость? Нельзя ведь излить страдание на бумагу и тем от него избавиться.

– Я и не собираюсь этого делать. Ни от чего не хотел бы я избавляться, кроме как от слабости и скованности. Я хотел бы ощущать, что скорбь и радость проистекают из одного и того же источника и суть движения одной и той же силы, такты одной и той же музыки и каждое из них – прекрасно и необходимо.

– Дружище! – резко вскричал он. – Вы же потеряли ногу! Неужели за музыкой вы способны об этом забыть?

– Нет, зачем? Ведь изменить я уже ничего не могу.

– И это не приводит вас в отчаяние?

– Это меня не радует, можете мне поверить, но, надеюсь, в отчаяние не приведет тоже.

– Тогда вы счастливее. Я, правда, не отдал бы ногу за подобное счастье. Значит, так получилось у вас с музыкой? Смотри, Марион, вот оно – волшебство искусства, о котором так много пишут в книгах.

Я запальчиво крикнул ему:

– Перестаньте так говорить! Вы сами ведь тоже поете не только ради гонорара, а получаете от этого радость и утешение! Зачем же вы насмехаетесь надо мной и над собой тоже? По моему, это жестоко.

– Тише, тише, – вмешалась Марион, – а то он рассердится.

Муот взглянул на меня.

– Не рассержусь. Он ведь совершенно прав. Но с ногой у вас дело, наверное, не так уж скверно, иначе писание музыки не могло бы вас утешить. Вы человек довольный, с такими что ни случись, они все равно остаются довольными. Но я никогда в это не верил.

И он вскочил разъяренный:

– Да это и неправда! Вы написали песню о лавине, в ней нет утешения и довольства, а есть отчаяние. Послушайте!

Он очутился вдруг у рояля, в комнате все стихло. Он начал играть, сбился и, опустив вступление, запел песню. Сейчас он пел ее иначе, чем тогда, у меня дома, и было ясно, что с тех пор он к ней не раз возвращался. И пел он сейчас в полный голос – у него был лирический баритон, знакомый мне по сцене, его сила и льющаяся потоком страсть заставляли забыть о необъяснимой жесткости его певческой манеры.

– Композитор написал это, как он уверяет, просто для развлечения, отчаяние ему неведомо и он бесконечно доволен своей участью! – воскликнул он и указал на меня.

На глаза мои навернулись слезы стыда и гнева, все закачалось передо мной, как в тумане, и я встал, чтобы положить этому конец и уйти.

Вдруг тонкая, но крепкая рука остановила меня, вдавила обратно в кресло и так тихо и нежно погладила по голове, что меня окатили ласковые, горячие волны – я закрыл глаза и проглотил слезы. Подняв глаза опять, я увидел, что передо мной стоит Генрих Муот, остальные, по-видимому, не обратили внимания на мой порыв и на всю эту сцену вообще, они пили вино и смеялись наперебой.

– Какой вы ребенок! – тихо произнес Муот. – Если человек написал такие песни, значит, он уже перешагнул через нечто подобное. Но я очень сожалею. Вот понравится тебе какой-то человек, но стоит немного побыть с ним, как заводишь ссору.

– Все хорошо, – смущенно сказал я. – Но сейчас я хотел бы пойти домой, лучшее, что могло быть сегодня, уже позади.

– Ладно, не стану вас неволить. Мы тут, я думаю, еще напьемся. Будьте тогда столь добры и проводите Марион домой, хорошо? Она живет в Центре, на Грабене, крюк вам делать не придется.

Красивая женщина секунду испытующе смотрела на него.

– Да, вы согласны? – сказала она затем, обращаясь ко мне, и я встал. Мы попрощались только с Муотом, в прихожей нам подал пальто наемный слуга, потом появилась и заспанная старушка, она светила нам большим фонарем, пока мы шли через сад к калитке. Ветер был все еще мягкий и тепловатый, он гнал длинные вереницы черных туч и копошился в оголенных кронах деревьев.

Я не осмелился взять Марион под руку, зато она без спросу ухватила за меня, закинув голову, втягивала в себя ночной воздух и вопрошающе и доверительно поглядывала на меня. Мне казалось, будто я все еще чувствую ее легкую руку на своих волосах, она шла медленно и словно бы и в дальнейшем намеревалась меня вести.

– Вот стоят дрожки, – сказал я. Мне было неприятно вынуждать ее приспособливаться к моей хромоте походке, и я страдал оттого, что ковыляю рядом с этой обаятельной, стройной и полной сил женщиной.

– Нет, – ответила она, – еще одну улицу мы пройдем пешком.

И она дала себе труд идти как можно медленнее, и если бы это зависело только от моего желания, я бы еще теснее прижал ее к себе. А так меня раздирали мука и ярость, я высвободил ее руку из-под своей и, когда она удивленно взглянула на меня, сказал:

– Мне неудобно так, я должен идти один, извините.

И она покорно пошла рядом со мной, заботливая и сострадательная, а я, будь у меня нормальная походка и сознание своей физической полноценности, сказал бы и сделал бы прямо противоположное тому, что сказал и сделал. Я стал молчаливым и резким, это было необходимо, иначе у меня опять навернулись бы на глаза слезы и я мечтал бы снова ощутить у себя на голове ее руку. Больше всего мне хотелось спастись бегством, свернув в ближайший переулок. Я не хотел, чтобы она шла медленно, чтобы она щадила меня, испытывала ко мне сострадание.

– Вы сердитесь на него? – заговорила она наконец.

– Нет. Я вел себя глупо. Ведь я едва его знаю.

– Мне его жалко, когда он такой. Бывают дни, когда приходится его бояться.

– Вам тоже?

– Мне больше всех. При этом он никому не делает так больно, как самому себе. Иногда он себя ненавидит.

– Ах, это он рисуется!

– Что вы такое говорите? – испуганно воскликнула она.

– Говорю, что он комедиант. Зачем ему нужно насмехаться над собой и над другими? Зачем ему нужно вытаскивать на свет переживания и тайны чужого человека и выставять их на смех? Злопыхатель он, вот кто!

Мой давешний гнев возвращался ко мне по мере того, как я говорил, я был готов изругать и унижить человека, который причинил мне боль и которому я, к сожалению, завидовал. Да и мое уважение к этой даме пошло на убыль, поскольку она брала его под защиту и открыто становилась на его сторону. Разве не было неприличным уже то, что она решилась присутствовать в качестве единственной женщины на этой пьяной холостяцкой пирушке? К большой свободе в таких вещах я не привык, и поскольку я стыдился того, что все-таки испытываю влечение к

этой красивой женщине, то в своей запальчивости предпочел завести ссору, нежели и дальше чувствовать ее сострадание. Пусть бы она сочла меня грубияном и убежала – по мне, это было бы лучше, чем если бы она осталась и была со мной любезна.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.